

ОДИНОЧЕСТВО КОТА ФОБОСА

Виктор Муравьев



Виктор Муравьев

Одиночество кота Фобоса

<https://litres.ru/74125537>

SelfPub; 2026

Аннотация

Что значит быть видимым? Что значит потерять всё — и найти то, чего не искал? Что значит умирать — и оставаться живым?

Пока все кричат о важности быть успешным, эта книга говорит тихо: можно быть серым котом на картонке у метро. И быть любимым. И этого достаточно.

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	16
Глава 3	34
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Виктор Муравьёв

Одиночество кота Фобоса

Глава 1

Кирилл стоял в очереди в кофейне на Литейном и смотрел на затылок девушки перед собой. У неё были тёмные волосы, собранные в небрежный пучок, из которого выбивались пряди — они касались воротника бежевого пальто, и Кирилл зачем-то подумал, что пальто, наверное, мягкое на ощупь. Кашемир или что-то такое. Он не разбирался.

— ...а он мне говорит: «Ты серьёзно?» А я ему: «Абсолютно». Представляешь? — девушка смеялась в трубку, прижимая телефон плечом к уху, пока рылась в сумке в поисках кошелька. — Ну всё, давай, я в очереди. Чмоки.

Она заказала капучино на миндальном — длинное название, которое Кирилл не запомнил, — и бариста, молодой парень с татуировкой осьминога на предплечье, улыбнулся ей, спросил, как прошёл день. Они обменялись парой фраз о погоде — ни о чём, но с интонацией давних знакомых. Девушка рассмеялась ещё раз и отошла к стойке ожидания, стуча ногтями по экрану телефона.

Кирилл шагнул вперёд.

— Американо.

Бариста, не поднимая глаз, пробил чек. Сдача легла на пластиковое блюдце с логотипом кофейни — две монеты по рублю и десятирублёвая, влажная от чьего-то пролитого латте. Кирилл взял их, стараясь не коснуться мокрого.

— Ваш американо, — через минуту сказал другой бариста, выставляя стакан на стойку. Крышка сидела криво. Кирилл заметил это, только когда горячая капля упала на большой палец. Он дёрнул рукой, стакан накренился, кофе плеснулся через край. Никто не обернулся.

Он сел за столик у окна. За окном был ноябрь — или, может быть, уже декабрь, трудно сказать, в Петербурге эти два месяца сливаются в один бесконечный серый вечер. Огни фонарей отражались в мокром асфальте, превращая улицу в перевёрнутый город — красивый, но ненастоящий. По тротуару шли люди: пары держались за руки, компания друзей толкалась и ржала над чьей-то шуткой, женщина с собакой остановилась поправить шарф. Жизнь текла мимо, яркая и чужая, как фильм на языке, которого он не знал.

Кирилл размешал кофе деревянной палочкой. Сахар он не брал, но палочку взял машинально. Размешал и отложил на салфетку. Салфетка была с тиснением — золотые звёздочки на белом. Кому нужны звёздочки на салфетке? Кто это придумал?

Он достал телефон. Экран засветился: 19:42. Никаких уведомлений. Вот уже третий день никаких уведомлений, если не считать push от погоды («ожидается мокрый снег»)

и напоминания оплатить интернет. Он открыл мессенджер. Чат с коллегами по работе — последнее сообщение недельной давности: «скиньте график на декабрь». Чат с мамой — она присылала фотографию кота с дачи и писала «как дела?», он отвечал «нормально, на работе завал», хотя никакого завала не было и быть не могло в книжном магазине на Васильевском, куда за день заходят от силы человек десять. Чат с Леной. Последнее сообщение — его собственное, отправленное полгода назад. Прочитано. Ответа нет.

Он заблокировал телефон и убрал в карман куртки. Куртка старая, чёрная, с протёртыми манжетами. Надо бы новую. Но это значит идти в торговый центр, выбирать, примерять, общаться с продавцами. Мысль была утомительной, и он отложил её в ту часть сознания, где уже лежали непочиненный кран в ванной, неотвеченное письмо от налоговой и незаполненная анкета на загранпаспорт.

Кофе остыл. Он сделал глоток — горько, водянисто. В этой кофейне всегда пережаривали зёрна.

На работу он устроился три года назад, когда понял, что офисная жизнь ему не подходит. Точнее, это офисная жизнь поняла, что он ей не подходит — после четвёртого сокращения за пять лет вопросов не осталось. Книжный магазин «Апокриф» держала пожилая пара — Илья Маркович и Регина Аркадьевна, бывшие преподаватели филфака, которые на пенсии решили воплотить мечту молодости. Магазин не приносил прибыли, но и не прогорал до конца — просто

тихо дрейфовал где-то в зоне безубыточности, как плот по Неве в безветренную погоду.

Кирилл работал пять дней в неделю с одиннадцати до восьми. Утром он открывал магазин, включал свет, запускал старенький ноутбук с учётной программой, которая зависала ровно на семнадцатой минуте после включения. Потом протирал пыль с полок — медленно, тщательно, с той особой нежностью, с какой ухаживают за старыми вещами. Книги пахли по-разному: новые — клеем и типографской краской, старые — сухой бумагой и временем. Ему нравился этот запах. Иногда он открывал какой-нибудь томик наугад и читал первое попавшееся предложение, как будто книга сама хотела ему что-то сказать.

Сегодня это был сборник пьес Теннесси Уильямса. Он раскрыл на середине: *«Я всегда зависел от доброты незнакомец»*. Захлопнул.

Покупателей почти не было. Зашла студентка за учебником по языкознанию — он помог ей найти, она сказала «спасибо» и исчезла, даже не взглянув на него. Зашёл мужчина в длинном пальто, долго стоял у полки с философией, ничего не купил. Зашла пара — они хихикали над комиксами в углу, а потом ушли, держась за руки. Кирилл смотрел на их сцепленные пальцы, пока дверной колокольчик не звякнул, закрываясь.

Он заварил себе чай в маленькой подсобке, где помещались только электрический чайник, две кружки и облезлый

венский стул. Чай был дешёвый, с бергамотом — бергамота было так много, что вкус напоминал духи. Но горячая вода согревала руки через керамику кружки, и это было приятно.

Кружка была его собственная. Тёмно-синяя, с золотой звездой на боку. Он купил её в сувенирном ларьке у метро «Горьковская» лет пять назад, и с тех пор она стала его талисманом. Единственная вещь в мире, про которую он точно знал: это моё.

В восемь вечера он закрыл магазин, опустил ставни, дважды проверил замок. По привычке — Илья Маркович говорил, что в этом районе тихо, но Кириллу нравилось перепроверять. Это создавало иллюзию контроля.

До дома он шёл пешком, хотя можно было на маршрутке. Двадцать минут вдоль набережной Малой Невы. Вода была чёрной и маслянистой, в ней отражались огни — такие же холодные, как сам ноябрь. Ветер дул с залива, пробираясь под куртку и заставляя ёжиться. Прохожих почти не было, только редкие фигуры в тусклом свете фонарей.

Он думал о том, что дома его никто не ждёт. Мысль была старая, привычная, как боль в колене, которая появляется в сырую погоду. Когда-то она причиняла острую боль — теперь просто напоминала о себе тихим нытьём.

Коммуналка встретила его запахом жареной рыбы. Соседка, Марья Степановна, снова готовила на общей кухне и снова не включила вытяжку. Кирилл повесил куртку в шкаф в коридоре, стараясь не шуметь, но половица всё равно скрип-

нула, и из-за двери Марьи Степановны донёлся глухой стук в стену. Он замер. Подождал. Прошёл в свою комнату.

Комната была маленькой — двенадцать метров, если верить объявлению о сдаче. На самом деле, наверное, десять с половиной. У окна — стол, на нём ноутбук и стопка книг, которые он когда-то собирался прочитать. Кровать, заправленная серым пледом. Шкаф с одеждой. На подоконнике — кактус в пластиковом горшке, единственное живое существо, которое от него зависело. Кактус не требовал внимания, не обижался, не уходил. Идеальный сосед.

Кирилл сел на кровать и закрыл глаза. В тишине слышно было, как тикают часы на кухне — старые, с кукушкой, Марья Степановна заводила их каждую неделю, хотя они отставали на семь минут. Тик-так. Тик-так. Где-то в глубине квартиры бубнил телевизор. Где-то капала вода из крана.

Он достал телефон. Открыл браузер. Начал листать ленту новостей — война, политика, курс рубля, какой-то скандал с актёром, которого он не знал. Всё это проходило сквозь него, как вода сквозь сито, не оставляя следа. Он свайпал вниз, вниз, вниз, пока не наткнулся на рекламный блок. «Вы устали от одиночества? Мы поможем». Сайт знакомств. Закрыл.

Телефон погас. Кирилл отложил его на тумбочку, перевернулся на бок и стал смотреть в стену. Обои были старые, с выцветшим рисунком — кажется, когда-то это были розы. Теперь просто серые пятна на сером фоне. Он думал о том, что завтра — среда, что нужно будет занести Марье Степа-

новне деньги за квартплату, что в магазин привезут новый каталог от издательства и надо будет его разобрать. Мысли были ровные, пустые, как вагоны товарного поезда, идущего порожняком.

Он уснул.

Ему приснилась Лена. Она сидела на кухне — не в его коммуналке, а в той квартире, которую они снимали вдвоём три года назад на Васильевском, — и помешивала чай ложечкой, не глядя на него. «Ты хороший, — говорила она во сне, и голос звучал глухо, как через подушку. — Правда, хороший. Просто...» Она не договаривала. Она никогда не договаривала. Ложечка звенела о край чашки: дзынь, дзынь, дзынь. Превратилась в звонок будильника.

Утро.

В «Апокриф» он пришёл ровно в десять сорок пять — на пятнадцать минут раньше открытия. Любил это время: магазин ещё спит, пылинки танцуют в косых лучах утреннего света, и можно побыть одному до того, как одному придётся быть среди людей.

Он включил ноутбук, запустил кофемашину в подсобке, полил фикус, который Регина Аркадьевна забыла забрать домой ещё в сентябре. Фикус не умирал, но и не рос — просто стоял в своём глиняном горшке, как немой укор. Кирилл понимал его.

В одиннадцать звякнул дверной колокольчик. Первый посетитель.

Это был парень лет двадцати пяти, невысокий, жилистый, в расстёгнутой кожаной куртке, под которой виднелась футболка с выцветшим принтом какой-то рок-группы. На шее — татуировка скорпиона, хвост уходил под воротник, клешни выглядывали над кадыком. Двигался он быстро, резко, как человек, который всегда куда-то опаздывает, но не переживает по этому поводу.

— Здоров, — бросил он, даже не взглянув на Кирилла, и сразу прошёл к стеллажу с эзотерикой. Это был небольшой закуток в дальнем углу магазина — Илья Маркович держал его скорее из академического интереса, чем ради выручки. Каббала, Таро, астрология, пара полок с восточной философией.

Кирилл кивнул в ответ, хотя парень уже стоял к нему спиной. Минуты три он слышал, как тот перебирает книги — быстро, без почтения, с каким обычно листают брошюры на вокзале. Потом парень вынырнул из-за стеллажа, неся в руках три книги.

— Это всё?

— Ага.

Кирилл пробил. «Символы и знаки в традициях йоруба», «Космогония древних культов», «Трактат о перекрёстках: мифология и практика». Названия были незнакомые, издательства — какие-то мелкие, чуть ли не самиздат. Сумма вышла небольшая. Парень бросил купюру на прилавок, сунул книги в рюкзак и вышел так же стремительно, как вошёл.

Колокольчик звякнул и затих.

Кирилл убрал деньги в кассу. Проверил ноутбук. Налил себе ещё кофе. Прошло полчаса. Он уже забыл о странном посетителе, когда, обходя зал, заметил на стуле в углу, рядом со стеллажом эзотерики, книгу.

Небольшая. В мягкой обложке. Обложка была чёрной, с серебряным тиснением — какой-то геометрический узор из перекрещивающихся линий. Название выцвело, буквы читались с трудом: «Книга Открытых Дорог. Ритуалы и практики».

Сердце почему-то стукнуло громче.

Он взял книгу в руки. Она была старой, страницы пожелтели, пахли пылью и ещё чем-то сладковатым — не то ладаном, не то сухими травами. Явно не из ассортимента «Апокрифа». Забытая. Парень со скорпионом на шее оставил её, торопясь.

Надо было отложить. Может, он вернётся. Может, позвонит.

Кирилл открыл книгу наугад.

Страница была заложена мятым трамвайным билетом. Текст — на русском, но с вкраплениями незнакомых слов, ритмичных, похожих на заклинание:

*«IBAROKOU MOLLUMBA ESHU IBACO MOYUMBA
IBACO MOYUMBA. OMOTE CONICU IBACOO OMOTE AKO
MOLLUMBA ESHU KULONA...»*

Ниже — описание, сухое и деловитое, как инструкция к

бытовому прибору:

«Выйди на перекрёсток в полночь. Возьми с собой птицу — курицу или петуха. Выкопай яму в центре пересечения дорог. Помести в неё ритуальный предмет. Кровью напои предмет, дабы оживить его. Дары оставь на перекрестье. Тот, кто открывает пути, услышит тебя».

Кирилл хмыкнул. Перевернул страницу. Там была иллюстрация: человек с головой, напоминающей одновременно и собачью, и человеческую, стоял на перекрёстке, в одной руке — посох, в другой — раковина улитки. Подпись: «Эшу-Элегара, дух перекрёстков и дверей». На следующей странице — список даров: сладости, ром, сигары, маленькие игрушки. Монеты. Зеркальце.

Он закрыл книгу. Положил на прилавок. Походил по залу. Вернулся. Открыл снова.

Он не верил в это. Никогда не верил. Ни в Бога, ни в чёрта, ни в духов, ни в силу ритуалов. Но в книге было что-то странное — не магическое, а скорее физическое. Она как будто грела руки. Или это просто кровь прилила к пальцам?

Он пролистал до введения. Автор — какой-то антрополог, изучавший африканские диаспоры на Кубе и в Бразилии. Писал сухо, академично, но то и дело проваливался в личные свидетельства. «Я видел, как семидесятилетняя женщина, которую врачи приговорили к инвалидному креслу, танцевала на церемонии Эшу». «Мне показали человека, потерявшего голос после инсульта, — он заговорил через три

дня после ритуала». «Мой проводник сказал: Эшу не добрый и не злой. Он — дверь. Ты сам выбираешь, куда войти».

Кирилл отложил книгу и уставился в окно. За стеклом шёл снег — первый в этом году. Крупные хлопья падали медленно, как в замедленной съёмке, и таяли, едва коснувшись асфальта. Прохожие поднимали воротники. Женщина с коляской накрывала ребёнка целлофаном. Город становился монохромным.

«Кому ты нужен? — стучало в висках. — Кто тебя заметит, если ты исчезнешь? Марья Степановна, когда запах из твоей комнаты станет слишком сильным? Илья Маркович, когда ты не выйдешь на работу третий день подряд? Кто? Назови хоть одно имя».

Он не мог.

Он снова взял книгу. Перечитал ритуал. На этот раз медленно, вдумчиво, как читают договор перед подписанием.

Перекрёсток. Полночь. Курица. Яма. Кровь.

Что за предмет? Он пролистал несколько страниц назад и нашёл: «Ритуальный предмет, олицетворяющий Эшу, — голова из цемента, глины или кокосовой скорлупы с инкрустированными каури-раковинами вместо глаз и рта». Чуть ниже: «В условиях города предметом может служить любой образ, наделённый намерением».

Кирилл закрыл книгу. Сердце колотилось где-то в горле. Он не мог объяснить, что с ним происходит. Это было не возбуждение, не страх, не предвкусение. Это было чувство,

похожее на то, когда долго сидишь в тёмной комнате, а потом кто-то вдруг включает свет — и ты жмуришься, ещё не понимая, рад ты или раздражён, но уже не можешь игнорировать то, что стало видно.

Он убрал книгу в ящик прилавка — не на полку, не в «потерянное и найденное», а в свой ящик, к ручкам, скрепкам и запасным пакетикам чая. Запер на ключ.

Остаток дня прошёл как в тумане. Он отвечал покупателям, пробивал чеки, даже улыбнулся кому-то — но мысли крутились вокруг одного и того же образа: перекрёсток, снег, луна, и он стоит в центре с курицей в руке, как персонаж абсурдной пьесы, которую никто не придёт смотреть.

Вечером, закрывая магазин, он впервые за три года не проверил замок дважды.

Глава 2

Домой Кирилл вернулся в девятом часу. В коммуналке пахло жареным луком и хлоркой — Марья Степановна, видимо, совмещала готовку с уборкой. Из-под её двери пробивалась полоска света и бубнёж телевизора: очередное ток-шоу, кто-то кричал, кто-то плакал, зал аплодировал. Студента не было. Кирилл снял куртку, повесил на крючок в коридоре и прошёл в свою комнату, стараясь не скрипеть половицами.

Книга лежала во внутреннем кармане куртки. Он достал её и положил на стол. Не открыл — просто положил и посмотрел на чёрную обложку, на серебряные линии, которые в тусклом свете лампы казались то ли паутиной, то ли картой несуществующей местности. Перекрёсток, понял он внезапно. Это был перекрёсток, стилизованный под геометрический орнамент.

Он сел на кровать и задумался.

Курица. В книге говорилось про живую птицу. Где, спрашивается, брать живую курицу в Петербурге в ноябре? На рынке? На ферме? В зоомагазине? Он представил, как стоит на Птичьем рынке в выходной и выбирает несушку, оценивая её по каким-то неведомым критериям. Представил, как везёт её в метро, завёрнутую в куртку. Как она кудачет на весь вагон. Как люди косятся, но ничего не говорят, потому

что в Петербурге вообще редко говорят с незнакомцами. Это было бы смешно, если бы не было так тоскливо.

Потом он вспомнил: в тексте говорилось о крови. Кровь, чтобы напитать предмет. Живую птицу или хотя бы её часть. И в голове, как это часто бывает, решение пришло не через размышления, а через желудок. Он был голоден.

Телефон. Приложение. «Яндекс.Еда».

Он пролистал ленту ресторанов. Пицца, суши, бургеры, шаверма, что-то вьетнамское с непроизносимым названием. Остановился на мясном ресторане в двух кварталах от дома. Меню: стейки, рёбрышки, котлеты, печень. Печень.

Куриная печень. Жареная, с луком. Кровь из неё уже не капала, конечно, но это была печень — орган, полный жизни. Может быть, этого достаточно. Может быть, дух перекрёстков не такой уж привередливый. Может быть, символа хватит.

Он заказал порцию куриной печени и, подумав, добавил картофельное пюре. Раз уж всё равно. Доставка — тридцать минут. Оплата картой.

Пока ждал, он открыл шкаф.

Шкаф был старый, ещё с той квартиры, где он жил с родителями. Дубовый, громоздкий, с резными ручками, которые вечно цеплялись за одежду. Он хранил в нём всё, что не помещалось в текущую жизнь: старые письма, детские фотографии, коробку с высохшими фломастерами, школьный альбом, который он ни разу не открывал после выпускного.

И ещё — рулон.

Он знал, что он там. Не вспоминал о нём годами, но знал.

Рулон лежал на верхней полке, придавленный стопкой зимних свитеров. Кирилл встал на цыпочки, потянул, и тот скатился ему в руки — неожиданно тяжёлый для куска пластика. Он сел на пол, прямо на затёртый паркет, и развернул.

Игрушечная дорога. Полтора на метр. Тканевая основа с полимерным покрытием, по которому так хорошо скользили колёса. Серый асфальт, белая разметка, перекрёсток в центре — самый настоящий, с четырьмя расходящимися полосами. Дорожные знаки нарисованы прямо на полотне: «Уступи дорогу», «Главная дорога», «Пешеходный переход». Светофоры по углам — красный, жёлтый, зелёный. Маленькие деревья вдоль обочин. Даже заправка с крошечными машинками, приклеенными намертво, — он помнил, как отковыривал одну из них в детстве, но пластик не поддался.

Мама купила ему этот коврик, когда ему было пять. Они жили ещё в той, старой квартире на Гражданке, до развода. У него была коллекция машинок — десятка два, от пожарной до гоночного «феррари» с открывающимися дверцами. Он часами сидел на полу и выстраивал маршруты: заправка — перекрёсток — гараж. Правила дорожного движения он выучил раньше, чем таблицу умножения. Мама садилась рядом, брала одну из машинок и спрашивала: «А как мне проехать к больнице?» И он, важный и сосредоточенный, объяснял: «Налево, потом прямо, потом у светофора направо».

Теперь от коллекции осталась одна-единственная машинка. Он не помнил, куда делись остальные. Но помнил, что эта — синяя «Вольво» с облупившейся краской на капоте — лежала где-то здесь, в шкафу, в коробке с мелочами. Он не стал её искать. Потом.

Кирилл разровнял коврик на полу. Тот лёг неровно — один край завернулся, пришлось придавить его тапком. Теперь комната выглядела странно: половина взрослой жизни и половина детской памяти, состыкованные внахлёст. Перекрёсток оказался точно в центре, между кроватью и столом. Нарисованный асфальт тускло блестел под лампой. Светофоры смотрели на него нарисованными глазами.

Зазвонил телефон. Курьер.

Он спустился вниз, встретил парня в жёлтой ветровке, взял бумажный пакет с логотипом ресторана. Пакет был тёплым. Пахло мясом и специями. Курьер сказал: «Хорошего вечера», — и исчез в темноте подъезда. Кирилл вернулся в комнату.

Он поставил пакет на стол и открыл. Пластиковый контейнер: печень в маслянистом соусе, лук кольцами, лавровый лист. Картофельное пюре — отдельно, в круглом контейнере с прозрачной крышкой. Одноразовая вилка. Салфетка.

Он не был голоден. Вернее, голоден, но не до еды.

На часах было без десяти одиннадцать. За стеной — тишина. Марья Степановна выключила телевизор и, кажется, легла спать. Студент ещё не вернулся. Окно чернело, и в

нём отражалась комната: голая лампочка, сторбленная фигура над детским ковриком, контейнер с печенью.

Кирилл выдохнул. Открыл книгу на заложенной странице. Перечитал:

«В центр перекрёстка помести ритуальный предмет. Окропи его кровью. Произнеси имя. Оставь дары».

Ритуальный предмет. Он не лепил голову из глины и не покупал кокосов. Но книга говорила: *«предметом может служить любой образ, наделённый намерением»*. Он огляделся. Кружка с золотой звездой стояла на столе. Та самая, с сувенирного ларька. Единственная вещь, про которую он точно знал: это моё.

Он взял кружку. Взвесил в руках. Она была тяжёлой, керамической, с чуть шершавыми боками. Звезда почти стёрлась от времени, но всё ещё была видна — золотой контур на тёмно-синем фоне. Он поставил кружку в центр перекрёстка. Кривовато — пришлось подвинуть, чтобы совпала с пересечением белых полос.

Потом он взял контейнер с печенью. Открыл крышку. Пар ударил в лицо — горячий, жирный, пахнувший железом и специями. Он выловил вилкой кусок печени. Положил в кружку. Добавил ещё один. И ещё. Три куска печени легли на дно, и соус потёк по керамическим стенкам, собираясь в тёмную лужицу на дне.

Кровь. Ну, почти.

Он поставил контейнер рядом с кружкой — в качестве

дара. Подумал и добавил упаковку печенья «Юбилейное», которое нашёл в тумбочке. Ещё — монету в десять рублей. Ещё — кусочек сахара, оставшийся от чая. Он не знал, что любит Эшу, поэтому решил — пусть выбирает.

Теперь — слова.

«*IBAROKOU MOLLUMBA ESHU...*»

Он запнулся. Буквы на странице расплывались. Он прочитал по слогам, медленно, как ребёнок, который учится читать:

— Иба-рокоу моллумба Эшу... ибако моюмба... ибако моюмба...

Слова были чужими, неуклюжими, застревали в горле. Он не понимал их значения, но чувствовал ритм — как будто сердцебиение, как будто шаги в темноте. Он закрыл глаза и повторил снова, уже громче.

За стеной скрипнула кровать. Мария Степановна перевернулась на другой бок.

— Омоте конику ибако... омоте ако моллумба Эшу кулона...

Он произнёс это трижды. Открыл глаза.

Ничего не произошло.

Комната всё та же. Лампа всё так же горит. Кружка с печеньем стоит на перекрёстке. Коврик с нарисованными светофорами. Часы на кухне тикают: тик-так, тик-так. Без десяти одиннадцать.

Кирилл сидел на полу и смотрел на кружку. Он не знал,

что должен почувствовать. Прилив энергии? Холод? Порыв ветра? Может быть, чьё-то присутствие за спиной? Ничего не было. Только усталость, накопившаяся за день. Только тишина коммуналки. Только чувство глупости — огромной, необъятной, как небо за окном.

Он сидел и ждал. Пять минут. Десять.

Потом встал, выключил свет и лёг в кровать, не раздеваясь. Кружка осталась на коврикe. Печень остывала. Монета поблёскивала в свете уличного фонаря, пробивавшемся сквозь занавеску.

Он закрыл глаза.

За стеной было тихо.

Во всём мире было тихо.

А потом ему показалось, что в углу комнаты кто-то хихикнул.

Коротко, сухо, как треск ветки под чьей-то ногой.

Кирилл резко сел на кровати. Всмотрелся в темноту. Никого. Шкаф. Стол. Коврик. Кружка. Светофоры на коврикe — красный, жёлтый, зелёный.

Красный.

Жёлтый.

Зелёный.

Он мог бы поклясться, что жёлтый светофор не должен гореть — это был просто рисунок, просто пластик, просто краска. Но он горел. Слабо, едва заметно, как тлеющий уголёк.

Кирилл смотрел на него, не в силах отвести взгляд, пока веки не налились тяжестью, а комната не поплыла перед глазами. Сон навалился внезапно — плотный, чёрный, без сновидений.

Сон был тяжёлым, плотным — из тех, что не приносят отдыха, а только засасывают глубже, как трясина. Никаких сновидений. Никаких образов. Только темнота и давление — будто кто-то положил ладонь на грудь и не убирал.

А потом сквозь эту темноту прорезался звук.

Шаги.

Медленные, тяжёлые. Половица скрипнула в коридоре — раз, другой. Кто-то шёл по коммуналке, не таясь, не прячась. Кирилл не открыл глаз, но сознание уже вынырнуло из сна, мутное, вязкое, как после болезни.

«Студент вернулся», — подумал он. Или Марья Степановна в туалет. Скрип половиц в этой квартире был особым языком: у каждого жильца своя походка, свой вес, свой маршрут. Марья Степановна семеняла короткими шажками, почти не отрывая ног от пола. Студент ходил размашисто, вразвалку, иногда задевая плечом стену.

Эти шаги не были похожи ни на те, ни на другие.

Тяжёлые. Но не грузные. Мягкие. Как будто кто-то ступал босыми ногами или в очень лёгкой обуви — но при этом весил куда больше, чем можно было предположить по звуку. Шаг. Пауза. Шаг. Пауза. Кто-то шёл по коридору, и под его поступью половицы не скрипели — они выдыхали, как жи-

вое существо, которое боится пошевелиться.

Шаги остановились.

Прямо за дверью.

Кирилл лежал, не открывая глаз. Сердце колотилось где-то в горле. Он не мог объяснить, почему ему страшно. Мало ли кто мог зайти? Может, к студенту пришли? Может, Марья Степановна вызвала сантехника? В полночь?

Тишина. Долгая, густая. Кто-то стоял за дверью и не входил. Или входил? Может, дверь открыта? Он не помнил, запер ли он её перед сном. Кажется, забыл. Кажется, он вообще много чего забыл за последние сутки: проверить замок, поесть, ответить маме, погасить свет.

Свет.

Он не выключал свет. Лампа горела, когда он лёг. Но сейчас, даже не открывая глаз, он чувствовал — в комнате темно. Лампа погасла. Или кто-то её погасил.

Шаги возобновились. Теперь они звучали внутри комнаты. Мягкие, тяжёлые, ритмичные. Кто-то обходил помещение по периметру: от двери к шкафу, от шкафа к столу, от стола к кровати. Кирилл не дышал. Он лежал на спине, руки вытянуты вдоль тела, и чувствовал, как воздух в комнате меняется — становится плотнее, теплее, наполняется запахом. Сладким. Приторным. Так пахли благовония в буддийском храме, куда он однажды зашёл от дождя. Так пахли апельсиновые корочки, которые мама сушила на батарее. Так пах табак из отцовской трубки, хотя отец ушёл двадцать лет на-

зад и трубку свою унёс с собой.

Кто-то стоял у изголовья.

Кирилл чувствовал это кожей. Не видел, не слышал — но знал так же точно, как знал, что у него пять пальцев на руке. Кто-то склонился над ним. Кто-то разглядывал его лицо. И этот кто-то — он не был злым. Не был добрым. Он просто был. Огромный, древний, как первые перекрёстки, которые протоптали звери в доисторическом лесу.

«Не открывай глаза», — приказал он себе. Но веки уже дрогнули.

Он увидел тень. Только тень — длинную, колеблющуюся, как пламя свечи на сквозняке. Она нависала над ним, заслоня потолок. У тени не было чётких очертаний, но было ощущение формы — высокой, то ли в шляпе, то ли с вытянутой головой. И ещё — запах стал сильнее. Апельсины. Табак. Что-то ещё, пряное и горькое. Ром?

«Вот бы...»

Мысль возникла сама собой — не вызванная, не оформленная, как будто кто-то другой вложил её в голову.

«Вот бы меня кто-нибудь любил. Без всего этого. Без того, что мне самому приходится... что-то для этого делать. Без стараний. Без заслуг. Без объяснений. Просто — чтобы любили. И чтобы не надо было ничего говорить. И чтобы я мог просто быть. И чтобы этого было достаточно».

Он не произнёс это вслух. Но в тишине комнаты мысль прозвучала громче любого крика.

Часы на кухне начали бить.

Они никогда не били в полночь. У них был сломан механизм боя, Марья Степановна жаловалась на это каждому гостю. Но сейчас они били. Медленно, глухо, с той самой седьмой минутой опоздания, с которой жили последние сорок лет.

Бом.

Тишина.

Бом.

Тишина длиннее.

Бом.

Двенадцать ударов. Когда стих последний, наступила тишина — такая глубокая, что Кирилл услышал, как у него в груди бьётся сердце. Раз. Ещё раз. Ещё. Быстрее, чем нужно. Слишком быстро.

А потом его ударило жаром.

Он не успел вдохнуть. Волна поднялась откуда-то изнутри — из живота, из груди, из самого центра костей — и хлынула наружу, прожигая каждую клетку. Как будто его окунули в кипяток. Как будто кровь стала лавой. Он открыл рот, чтобы закричать, но крик застрял в горле, превратившись в какой-то сдавленный, чужой звук.

Жар схлынул так же внезапно, как появился. И сразу — холод. Ледяной, пронизывающий до костей. Как будто он стоял голым на зимнем перекрёстке, и ветер выдувал из него последние остатки тепла.

Потом — звук.

Низкий, утробный гул, который шёл не снаружи, а изнутри — как будто сама комната вибрировала, как будто стены, пол, потолок превратились в огромный колокол, и кто-то ударил в него. Гул нарастал, заполнял уши, голову, всё тело. Он вибрировал в зубах, в ключицах, в подушечках пальцев.

В подушечках пальцев.

Что-то было не так с пальцами.

Он попытался пошевелить ими. Они слушались — но странно. Как будто их стало меньше. Как будто они стали короче, мягче, подушечки — больше и чувствительнее.

Гул стихал. Холод отступал. Жар возвращался — но теперь мягкий, ровный, как тепло одеяла в зимнее утро.

Кирилл открыл глаза.

Перед ним была лапа.

Маленькая, покрытая короткой серой шерстью. Подушечки — розовые, нетронутые, как у котёнка. Он смотрел на неё и не понимал. Перевёл взгляд выше — вторая лапа, такая же. Попытался отдернуть руку — лапа дёрнулась.

Это была его лапа.

Он попытался вскочить — и тело не послушалось так, как он привык. Вместо того чтобы сесть, он перевернулся на бок, неуклюже, неловко, как пьяный, и едва не скатился с кровати. Его тело было не его. Оно было меньше. Гибче. По-другому устроено.

Он посмотрел вниз.

Грудь — узкая, покрытая серой шерстью, с белым пятном у горла. Живот — мягкий, светлый. Лапы — четыре. Четыре лапы. Он пересчитал ещё раз, хотя и так было понятно.

Хвост.

Он дёрнулся от неожиданности, и хвост дёрнулся вместе с ним — длинный, гибкий, с тёмным кончиком. Он не контролировал его. Хвост жил своей жизнью, двигался сам по себе, и это было самым странным ощущением — как будто у него появилась новая часть тела, которую он не знал, как выключить.

Кирилл открыл рот, чтобы выругаться.

— Мр-р-р, — сказал он.

Собственный голос прозвучал тонко, хрипловато, с вибрацией где-то глубоко в горле. Он попробовал снова.

— Мя-а-а.

Человеческие слова не получались. Язык не слушался. Губы — он попытался их облизать и понял, что у него нет губ в привычном смысле. Вместо этого по лицу прошло что-то шершавое, влажное, длинное.

Язык. Кошачий язык.

Он замер. Вдох. Выдох. Вдох. Сердце колотилось так быстро, что он чувствовал его где-то в горле, в висках, в подушечках лап.

Мир вокруг изменился. Он не сразу это заметил, но теперь, когда первая паника схлынула, детали начали проступать. Комната стала другой. Не изменилась — но стала дру-

гой.

Во-первых, свет. Он выключил лампу перед сном — или она погасла сама, — но сейчас он видел всё. Каждую трещинку на потолке. Каждую пылинку в воздухе. Тёмные углы больше не были тёмными — они были полны оттенков серого, как будто кто-то повернул ручку яркости на максимум.

Во-вторых, запахи. Их было слишком много. Пыль на подоконнике. Остатки печени в кружке — всё ещё пахли мясом, но теперь к ним примешивался металлический оттенок крови. Коврик — пах пластиком и чем-то ещё, детством, маминими руками. Из коридора тянуло луком, хлоркой, Марьей Степановной — её духами «Красная Москва», её старческой кожей, её вчерашним ужином. Студент — от его двери пахло дешёвым дезодорантом и сигаретами. Улица за окном — мокрый асфальт, бензин, голуби, чья-то собака.

Мир состоял из запахов. Они наслаивались друг на друга, сплетались, расходились, рассказывали истории. Он никогда не думал, что у тишины есть запах, — но теперь знал: у тишины запах есть. Она пахнет пылью и старыми обоями.

В-третьих, звуки. Он слышал всё. Не просто слышал — различал. Как дышит Марья Степановна за стеной — медленно, с присвистом, у неё, наверное, давление. Как капает вода из неплотно закрытого крана на кухне — кап, кап, кап, с интервалом в три секунды. Как тикают часы. Как где-то на улице, за три двора отсюда, переговариваются два человека, и он различал слова: «...а я ему говорю...» — хотя раньше

не услышал бы даже крика.

И шаги.

Шагов больше не было. Тот, кто стоял у изголовья, ушёл. Или остался, но затаился. Кирилл повернул голову — и это движение тоже было новым, слишком плавным, слишком быстрым. Шея гнулась иначе. Позвоночник изгибался так, как никогда не изгибался человеческий.

В комнате никого не было. Только он. Только кружка на коврике. Только печень, остывшая и потемневшая. Только монета и печенье.

И луна за окном — огромная, яркая, как прожектор. Он не помнил, чтобы сегодня было полнолуние.

Кирилл попытался встать. Это оказалось сложнее, чем он думал. Человеческое тело имеет центр тяжести здесь, а кошачье — совсем в другом месте. Он покачнулся, передние лапы подкосились, и он ткнулся носом в плед. Плед пах им самим — вернее, человеком, которым он был. Запах был слабый, почти выветрившийся, но он его узнал.

Он попробовал снова. Осторожно. Медленно. Задние лапы оттолкнулись от кровати, передние выпрямились, хвост — о, хвост, оказывается, помогал держать равновесие — хвост качнулся вправо, и тело само выровнялось. Он стоял. На четырёх лапах. На кровати. В своей комнате. В теле кота.

В голове билась одна-единственная мысль — глупая, бесполезная, но настойчивая: «Это сон. Так не бывает. Сейчас я проснусь».

Но он не просыпался.

Он сделал шаг. Ещё один. Лапы ступали мягко, бесшумно — он не замечал раньше, но человеческие ноги всегда шумят, всегда давят на пол, всегда заявляют о себе. А эти просто касались поверхности. Как будто он был легче воздуха.

Он подошёл к краю кровати. Посмотрел вниз. Пол был далеко — метра полтора, не меньше. Раньше это расстояние казалось ему шагом. Сейчас оно казалось пропастью.

Он прыгнул.

Тело сработало само — он даже не успел испугаться. Лапы пружинисто приняли вес, позвоночник изогнулся, хвост описал дугу. Приземление было мягким, почти беззвучным. Он стоял на полу, на детском коврике с перекрёстком, и смотрел на кружку, которая теперь была с ним почти вровень.

Кружка. Печень. Монета. Ритуал.

Получилось.

Он не знал, что именно получилось, и не знал, рад ли он этому. Но факт оставался фактом: он стоял на четырёх лапах, видел в темноте, слышал, как тикают часы за стеной, и чувствовал запах апельсинов, который не исчез — просто стал слабее, как будто тот, кто его принёс, отошёл на несколько шагов и теперь наблюдал издалека.

Кирилл сел. Кошачье тело сложилось в эту позу само, как будто он сидел так всю жизнь: задние лапы поджаты, передние выпрямлены, хвост обернулся вокруг подушечек. Он си-

дел на перекрёстке. На игрушечном перекрёстке. В центре своей комнаты.

За окном выла собака — или, может быть, ветер.

Кирилл поднял голову к потолку, к луне, к тому, кто мог его слышать, и попытался сказать:

— Что теперь?

Но из горла вырвалось только короткое, жалобное:

— Мяу.

Он закрыл глаза. Открыл. Снова закрыл. Ничего не менялось.

Где-то в коридоре скрипнула половица. Кто-то стоял за дверью. Ждал. Или смеялся — тихо, сухо, как треск ломающейся ветки.

Кирилл почувствовал, как шерсть на загривке встаёт дыбом — сама, без его воли. Инстинкт, древний и безошибочный, говорил ему то, чего он не хотел слышать: сделка заключена. Пути открыты. Тот, кто стоит за дверью, — он здесь не для того, чтобы навредить. Он здесь, чтобы получить плату.

Но плату за что?

Он вспомнил свою мысль, последнюю человеческую мысль: «Вот бы меня кто-нибудь любил. Чтобы просто любили. И чтобы я мог просто быть».

Эшу дал ему то, что он просил.

Кот, сидящий на игрушечном перекрёстке, — вот что он теперь. Существо, которое любят просто так. За мягкую шерсть. За мурлыканье. За то, что оно есть.

Но он забыл уточнить одну деталь: кто его полюбит? И что будет с ним самим — с Кириллом, с человеком, который тридцать три года прожил в этом теле и так и не научился быть счастливым?

Часы на кухне тикали. Вода капала. Марья Степановна дышала с присвистом.

А кот сидел на перекрёстке и смотрел на луну.

Первая ночь его новой жизни началась.

Глава 3

Он не спал до самого рассвета.

Сначала просто сидел на коврике, на том самом пере-
крёстке, где всё случилось, и пытался осознать произошед-
шее. Потом начал ходить. Ходить по-кошачьи — мягко, бес-
шумно, переставляя лапы с какой-то новой, внутренней гра-
цией, которую он не контролировал. Тело знало, что делать.
Тело двигалось само: четыре точки опоры, хвост как балан-
сир, позвоночник — тугая пружина. Разум отставал. Разум
всё ещё был человеческим и кричал от ужаса где-то в глуби-
не этого компактного, чужого, слишком гибкого тела.

Он ходил кругами. От кровати к столу. От стола к шкафу.
От шкафа к окну. За окном всё ещё была ночь — глубокая,
чёрная, без намёка на рассвет. Петербург спал, или притво-
рялся, что спит. Фонари на набережной гасли один за дру-
гим — экономия, городской бюджет, что-то такое. Кирилл
смотрел на них и считал: три, четыре, пять. Раньше он бы не
заметил. Раньше он вообще редко смотрел в окно ночью.

— Так, — сказал он вслух, проверяя голос.

Получилось «мр-р-ряк».

Он попробовал снова:

— Мр-р-ряк. Мряу. Мр-р-р.

Язык не слушался. Во рту всё было устроено иначе: зубы
мельче, но острее, нёбо выше, язык — длинный и шерша-

вый, как наждачная бумага. Он облизал нос — просто чтобы понять, как это работает, — и удивился, насколько естественным вышло движение. Тело знало, как облизывать нос. Тело знало, как дёргать ушами. Тело знало, как поджимать хвост и как распушать шерсть на загривке, когда страшно.

А страшно было.

Он остановился посреди комнаты и попытался собрать мысли в кучу. Мысли разбегались, как тараканы при свете.

«Я превратился в кота».

«Нет, это сон».

«Я не сплю».

«Это какая-то галлюцинация. Может, печень была несвежая?»

«Я превратился в кота».

«Что мне делать?»

Телефон. Точно. Нужно позвонить кому-нибудь. Кому — он не знал. Может, в скорую. Может, маме. Может, сразу в полицию — «здравствуйте, я кот, помогите». Он представил этот разговор и чуть не рассмеялся, но смех вышел каким-то сиплым мявом.

Телефон лежал на тумбочке у кровати. Он вскочил на кровать — это движение тоже получилось само, без участия сознания, просто прыжок, и вот он уже на пледе. Телефон. Чёрный прямоугольник, экран погашен. Он попытался взять его. Лапа не хватала. Пальцев не было. Подушечки касались стекла, но стекло не реагировало — оно было рассчитано

на человеческую кожу, на папиллярные узоры, на отпечатки пальцев, которых у него больше не было.

Он нажал лапой сильнее. Экран засветился.

Блокировка. Шесть цифр.

Он попытался ввести код носом. Нос был влажным и холодным — экран считал его как серию хаотичных касаний. «Неверный код. Попробуйте снова через 30 секунд». Он подождал. Попробовал ещё раз. Ещё. Экран заблокировался на минуту, потом на пять, потом на пятнадцать.

— Мряу! — выкрикнул он. Это должно было быть ругательством.

Телефон молчал. На заставке была фотография Лены — старая, трёхлетней давности, он так и не сменил. Лена улыбалась, щурилась от солнца, держала в руках бумажный стаканчик с кофе. Теперь её лицо освещало комнату, и Кирилл смотрел на него сквозь блокировку — шесть цифр, которые он знал наизусть, но не мог ввести.

Он спрыгнул с кровати.

Ладно. Ладно, ладно. Без паники. Нужно подумать.

Он снова заходил кругами. Шкаф — стол — окно — дверь. Мысли метались. Может, написать что-то? Носом, на телефоне? Но клавиатура не открывалась без разблокировки. Может, поцарапать записку? На чём? Чем? Он посмотрел на свою лапу. Когти. Острые, загнутые, втяжные — он попробовал выпустить их, и это получилось, как будто он всегда это умел. Когти вышли из подушечек — беззвучно,

мягко, как лезвия перочинного ножа.

Он подошёл к столу. На столе лежал блокнот — старый, с отрывными листами, для заметок о книгах, которые нужно заказать. И ручка. Он попытался взять ручку лапой. Не вышло. Попытался зажать в зубах. Зубы скользнули по пластику, ручка упала и покатила под стол.

Он сел и уставился на неё.

Вот так. Он не мог позвонить. Не мог написать. Не мог открыть дверь — ручка двери была слишком высоко и требовала поворота, а не нажатия. Он не мог даже сказать «помогите» — только «мяу». Единственное, что он мог, — ходить кругами по тёмной комнате и слушать, как тикают часы за стеной.

К рассвету он устал.

Не физически — тело было лёгким и сильным, куда более выносливым, чем человеческое. Он устал морально. Устал бояться, устал думать, устал метаться между надеждой, что это сон, и ужасом, что это не сон. Он забрался на подоконник и лёг там, поджав лапы, глядя на улицу. Серое небо начинало светлеть. Где-то за крышами пробивался розоватый отсвет — робкий, неуверенный, как будто солнце тоже не до конца проснулось.

Он задремал.

А потом зазвонил будильник.

Резкий, вибрирующий звук — стандартная мелодия из телефона, которую он ненавидел последние несколько лет,

но так и не удосужился сменить. Телефон надрывался на тумбочке, дребезжал о деревянную поверхность, и этот звук вонзался в его новые, слишком чувствительные уши как раскалённая игла.

— Мря-а-ау! — заорал он, подпрыгнув на месте.

Будильник не умолкал.

Кирилл метнулся к кровати, вскочил, нажал лапой на экран. «Отложить» — эта кнопка была большой и удобной, но лапа не попадала. Он тыкал носом, лапой, даже попытался нажать подбородком — бесполезно. Телефон вибрировал и звенел, звенел и вибрировал, и от этого звука у него началась головная боль где-то за ушами.

Будильник звенел минуту. Две. Три.

Он звенел так долго, что Кирилл уже начал подумывать — не спрыгнуть ли с подоконника? Не разбить ли телефон? Не начать ли выть, как воют собаки на сирену?

А потом за стеной заворочалась Марья Степановна.

Он услышал это мгновенно: скрип пружин, тяжёлый вздох, шарканье тапок по полу. Дверь её комнаты открылась. Шаги по коридору — быстрые, раздражённые.

— Кирилл! — голос был хриплый, спросонья. — Кирилл, у тебя телефон надрывается! Что ж такое-то! Уши вянут!

Она постучала в дверь. Он не ответил — не мог. Она постучала сильнее.

— Кирилл, ты живой там? Кирилл!

Тишина. Будильник зазвенел с новой силой — телефон

перешёл на повторный вызов.

— Да что ж за наказание...

Ручка двери дёрнулась. Кирилл забыл запереться. Конечно, забыл. Он вчера вообще забыл всё на свете, потому что проводил магический ритуал с куриной печенью на детском коврикe, и теперь дверь открывалась, и на пороге стояла Марья Степановна — в застиранном халате, в бигуди, с лицом, выражающим крайнюю степень коммунального негодования.

Она открыла рот, чтобы что-то сказать. Закрыла.

На кровати никого не было. В комнате никого не было — только кот. Серый, с белой грудкой, взъерошенный, с круглыми от ужаса глазами. Он сидел на подоконнике и смотрел на неё, распушив шерсть так, что казался вдвое больше своего размера.

— Господи, — выдохнула она. — А ты откуда взялся?

И тут Кирилл понял: она смотрит на него. Видит его. Разглядывает. В её глазах — удивление, но не ужас, не отвращение. Просто живое, тёплое, почти радостное удивление. И он, не успев подумать, заговорил.

— Марья Степановна, это я! — вырвалось из него. — То есть, я — Кирилл! Я понимаю, это звучит безумно, но вы только не пугайтесь, пожалуйста! Я превратился в кота. Я провёл ритуал, дурацкий ритуал из книжки, и теперь я кот. Я не знаю, как обратно. Пожалуйста, вы должны мне помочь. Мне больше не к кому обратиться. Вы только выслушайте. Я

знаю, это звучит как бред, но это правда!

Слова лились из него потоком — сбивчивым, истеричным, почти без пауз. Впервые за несколько часов он говорил — и неважно, что изо рта вырывалось только «мяу-мяу-мяу-мяу-мяу», неважно, что каждое слово превращалось в одинаковое кошачье восклицание. Он говорил. Он объяснял. Он рассказывал всё — про книгу, про перекрёсток, про печень, про Эшу, про своё желание, про то, что больше не хочет быть один, про то, что теперь он кот, и это, конечно, не совсем то, что он имел в виду, но...

Марья Степановна слушала.

Она стояла в дверях, приоткрыв рот, и слушала этот поток мяуканья — громкого, жалобного, отчаянного. Её лицо менялось: удивление, недоверие, что-то ещё, какое-то странное выражение, которого Кирилл не мог понять. Она не перебивала. Не кричала. Не звала на помощь. Она просто стояла и смотрела на кота, который надрывался на подоконнике.

И Кирилл, видя это, чувствовал, как в груди поднимается надежда — горячая, почти болезненная. Она понимает. Она слышит. Она поможет.

— ...и вот я теперь здесь, — закончил он, задыхаясь. — Помогите мне. Пожалуйста.

Повисла тишина. Будильник наконец заткнулся.

Марья Степановна сделала шаг вперёд. Ещё один. Её лицо стало непроницаемым — ни злости, ни сочувствия, ни страха. Она смотрела на него так, как смотрят на вещь, которую

нужно решить: выбросить или оставить.

— Кис-кис-кис, — сказала она тихо. — Иди сюда.

Кирилл не двинулся. Что-то было не так. Что-то в её голосе изменилось — он стал тем самым голосом, каким люди зовут незнакомых кошек на улице. Ласковым, но пустым.

— Кис-кис, — повторила она. — Хороший котик.

— Марья Степановна, вы что... вы меня не понимаете? — пролепетал он. — Это же я. Кирилл. Ваш сосед. Я за стенкой живу уже три года. Я вам квартплату занову каждое первое число!

— Кис-кис-кис, иди сюда, маленький.

Она не понимала. Она слышала только мяуканье. Она видела только кота — чужого, невесть как попавшего в комнату соседа, который куда-то подевался. И теперь она стояла, расставив руки, и наступала медленно, осторожно, как наступают на дикое животное, которое может укусить.

— Откуда ж ты взялся-то? — бормотала она. — И где этот балбес? Дверь открыта, телефон надрывается, а его нет. Кота завёл, что ли? Не говорил ничего.

— Я не кот! — закричал Кирилл. — То есть я кот, но это я! Кирилл! Посмотрите на меня!

Она не смотрела. Она отступала к двери, не сводя с него глаз, и вдруг — резко — вышла в коридор и захлопнула дверь.

Тишина. Кирилл остался один.

Он перевёл дух. Не поняла. Конечно, не поняла. Как она

могла понять? Он мяукал, а не говорил. Но, может быть, она сейчас позвонит кому-нибудь? В полицию? В скорую? В МЧС? Может быть, это шанс?

Дверь открылась снова.

Марья Степановна стояла на пороге. В одной руке у неё было полотенце — старое, вафельное, с синей каймой. В другой — швабра, которой она, видимо, собиралась то ли защищаться, то ли направлять.

— А ну, брысь, — сказала она деловито. — Пошёл вон. Ишь, расселся. У меня аллергия на шерсть, между прочим. Брысь, кому говорю.

И она взмахнула полотенцем.

Кирилл отпрянул. Полотенце хлопнуло по подоконнику рядом с ним — громко, страшно, как выстрел.

— Марья Степановна! — завопил он. — Это я! Кирилл! Пожалуйста!

Полотенце снова взлетело в воздух. Он едва успел отскочить в сторону. Швабра ударила по столу — ручка, кружка, печенье посыпались на пол. Она наступала. Не зло, не жестоко — а так, как гоняют голубей с балкона, как прогоняют бродячего кота, забравшегося в форточку. Бытовое, привычное движение. Ничего личного.

— Брысь, брысь! Вон отсюда!

Он заметался по комнате. Под кровать — она ткнула шваброй. На шкаф — она замахнулась полотенцем. Он бежал кругами, а она наступала, и лицо у неё было сосредото-

ченное, как при мытье полов.

— Окно открою, — сообщила она скорее себе, чем ему. — Выпрыгнешь. Тут невысоко, второй этаж. Кошки на лапы падают, не бойсь.

Она распахнула окно.

Холодный ноябрьский воздух ворвался в комнату. Утро было серым, сырым, с низким небом, обещавшим мокрый снег. Внизу — двор-колодец, мусорные баки, чёрный асфальт. Где-то каркнула ворона.

Кирилл прижался к стене. Он дрожал всем телом. Шерсть стояла дыбом, хвост раздулся в два раза. Он смотрел на распахнутое окно, на полотенце в руках соседки, на её неумолимое лицо — и не мог поверить.

— Ну, давай, — сказала Марья Степановна и шагнула к нему. — Пошёл.

Полотенце ударило по спине. Хлётко. Больно.

Он прыгнул.

Не потому что хотел. Не потому что решился. Тело прыгнуло само — инстинкт, древний и слепой, бросил его в единственную открытую щель, подальше от опасности, от шума, от хлопающей ткани. Лапы оттолкнулись от подоконника. На мгновение он завис в воздухе — распластанный, невесомый, с выпученными глазами.

Второй этаж. Невысоко.

Но для кота ростом в тридцать сантиметров это была пропасть.

Время замедлилось. Он видел серое небо. Чёрные ветки тополя. Окно соседнего дома. Чью-то кошку на подоконнике — она смотрела на него с ленивым любопытством. Он летел и думал: «Я умру. Я сейчас умру. Я прожил тридцать три года человеком и три часа котом. И вот так это кончится».

Лапы сами развернулись в воздухе. Хвост описал дугу. Тело изогнулось — и он приземлился.

На все четыре.

Удар отозвался в лапах, в позвоночнике, в зубах. Но лапы сработали как пружины — сжались, погасили импульс, выдержали. Он стоял на асфальте. Мокром. Холодном. Жёстком.

Живой.

Сверху хлопнуло окно. Марья Степановна закрыла створку, даже не выглянув.

Кирилл сидел во дворе-колодце, на голом ноябрьском асфальте, и смотрел на серое небо, которое висело над ним, как крышка гроба. Сердце колотилось где-то в горле. Лапы дрожали. Уши звенели от криков — своих собственных, человеческих, которые никто не услышал.

Он брёл по городу уже час. Может, два. Может, целую вечность — время текло иначе, когда ты размером с ботинок, а мир вокруг состоит из ног, колёс и бесконечного серого неба, которое даже не пытается притвориться добрым.

Петербург ноябрьский — не лучшее место для прогулок. Особенно если ты кот. Особенно если ты кот, который ещё

вчера был человеком, а сегодня даже не знает, как правильно переходить дорогу.

Он жался к стенам домов. Так было безопаснее: с одной стороны — кирпич, с другой — открытое пространство, которое он учился читать заново. Каждая лужа отражала небо и его собственную морду — серую, с белой отметиной на груди, с круглыми глазами, которые всё ещё смотрели на мир по-человечески. Каждая тень заставляла вздрагивать. Каждый звук — а звуков было столько, что голова шла кругом, — требовал расшифровки. Шаги. Машина. Голубь. Чья-то собака вдалеке. Хлопнула дверь парадной. Где-то заплакал ребёнок. Мир орал на него со всех сторон, и он не мог сделать потише.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.